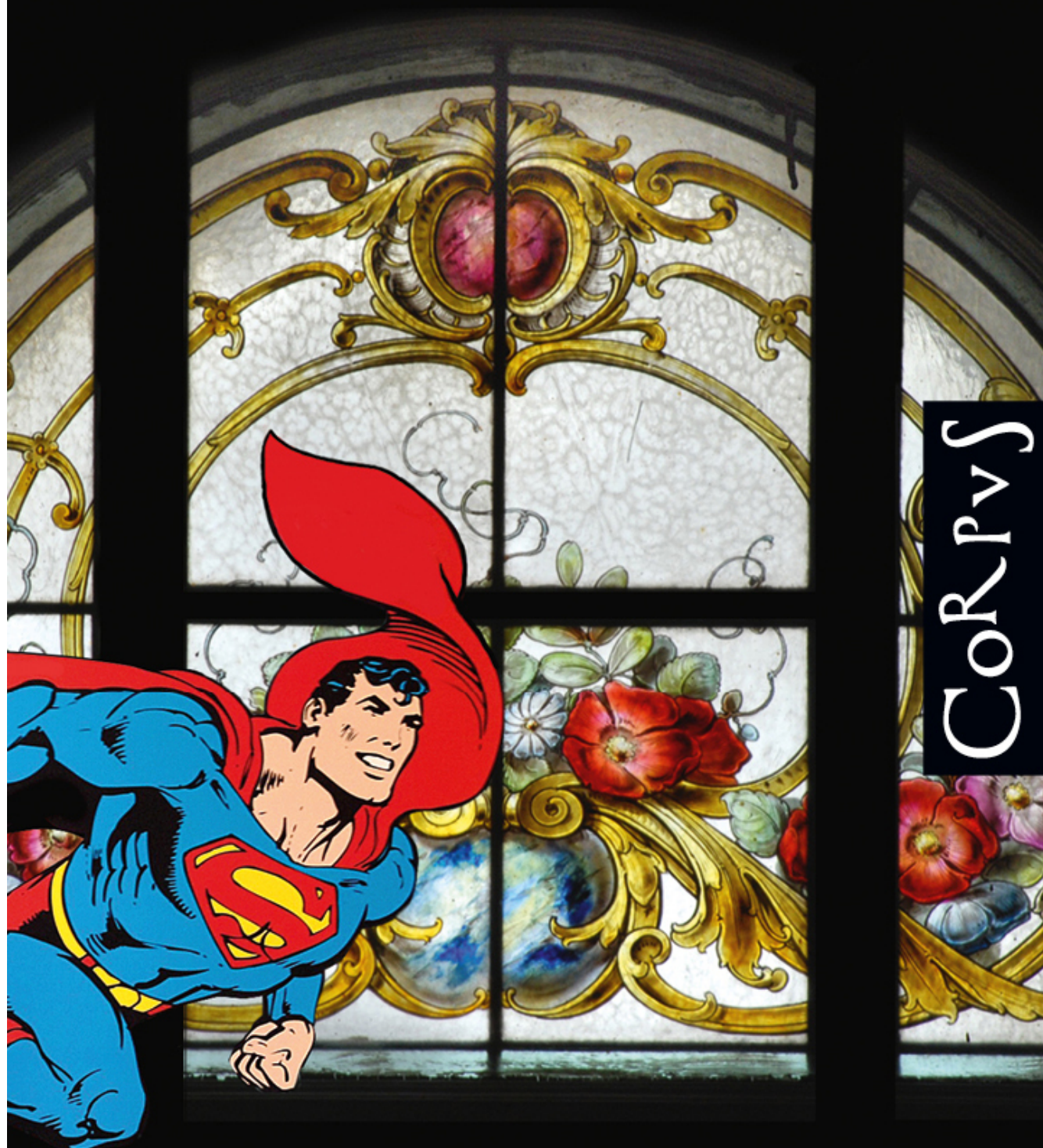


Владимир
Набоков



CoRpus

Поэмы 1918–1947
Жалобная песнь
Супермена

Набоковский корпус

Владимир Набоков

Поэмы 1918-1947.

Жалобная песнь Супермена

«Издательство АСТ»

1918-1947

УДК 821.111-1(73)

ББК 84(7Сое)-5

Набоков В. В.

Поэмы 1918-1947. Жалобная песнь Супермена / В. В. Набоков —
«Издательство АСТ», 1918-1947 — (Набоковский корпус)

ISBN 978-5-17-137850-9

Настоящее собрание поэм Владимира Набокова (1899–1977) составили как хорошо известные, так и впервые публикуемые произведения, написанные в Европе и Америке в 1918–1947 годах. Недавно расшифрованные и новонайденные в архиве писателя поэмы, среди которых «Легенда о луне» (1920), «Электричество» (1920), «На севере диком» (1920), «Olympicum» (1921), существенно дополняют русскую часть его двуязычного поэтического багажа и открывают неизвестные стороны в его творческом становлении. В поэзии знаменитого автора «Лолиты» и «Ады» обнаруживаются истоки и предпосылки своеобразия его прозы: тонкий психологизм, живописная зримость описаний, точные наблюдения, особая «зеркальность» стиля, сочетание вымысла с автобиографизмом. Впервые публикуются поэмы «Двое» (1919), «Легенда о луне», «Электричество», «На севере диком»; текст самой значительной из ранних поэм Набокова «Солнечный сон» (1923) заново сверен с рукописью. В Приложении публикуется еще одна недавняя архивная находка, «Жалобная песнь Супермена» (1942), – оригинальная набоковская интерпретация образа героя американских комиксов. Издание снабжено комментариями и иллюстративным материалом. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-1(73)

ББК 84(7Сое)-5

ISBN 978-5-17-137850-9

© Набоков В. В., 1918-1947
© Издательство АСТ, 1918-1947

Содержание

От редактора	7
Поэмы	9
Детство	9
Двое	14
Легенда о луне	27
Крым	41
Электричество	45
На севере диком	48
Петербург	53
Olympicum	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Владимир Владимирович Набоков

Жалобная песнь Супермена

© Compilation copyright © 2023 by The Vladimir Nabokov Literary Foundation

© Состав., предисл., коммент., перевод А. Бабилова, 2023

© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2023

© ООО «Издательство Аст», 2023

Издательство CORPUS ®

От редактора

Настоящее собрание поэм Владимира Набокова (1899–1977) составили как хорошо известные, так и впервые публикуемые произведения, написанные в Европе и Америке в течение тридцати лет его долгой писательской жизни. Прделанная в последние годы работа по расшифровке новонайденных в нью-йоркском архиве Набокова поэм позволила существенно дополнить русскую часть его двуязычного поэтического багажа. Все они относятся к раннему периоду творчества Набокова, крымской, университетской (кембриджской) и начальной берлинской поре (1918–1923).

Вспоминая в «Других берегах» годы учебы в Кембридже, Набоков уделит всего несколько слов своему главному занятию того времени – сочинению русских стихов:

Страх забыть или засорить единственное, что успел я выщарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, из России, стал прямо болезнью. Окруженный не то романтическими развалинами, не то донкихотским нагромождением томов (тут был и Мельников-Печерский, и старые русские журналы в мраморных переплетах), я мастерил и лакировал мертвые русские стихи, которые вырастали и отвердевали, как блестящие опухоли, вокруг какого-нибудь словесного образа. Как я ужаснулся бы, если бы тогда увидел, что сейчас вижу так ясно – стилистическую зависимость моих русских построений от тех английских поэтов, от Марвелля до Хаусмана, которыми был заражен самый воздух моего тогдашнего быта. Но Боже мой, как я работал над своими ямбами, как пестовал их пеоны – и как радуюсь теперь, что так мало из своих кембриджских стихов напечатал¹.

Он не упоминает здесь о том, что кроме коротких стихов сочинял в то время большие поэтические произведения, не указанные в библиографиях и оставшиеся неизвестными, поскольку были уничтожены или утеряны им самим предположительно еще в 20-х гг., – во всяком случае, автографы поэм «Легенда о луне» (1920), «На севере диком» (1920), «Солнечный сон» (1923) в его архивах обнаружить не удалось, их тексты сохранились благодаря тому, что были переписаны или перепечатаны его матерью, Еленой Ивановной Набоковой.

Содержательно публикуемые в настоящем собрании ранние и зрелые поэмы Набокова по большей части ретроспективно-автобиографические, посвященные пройденным этапам его жизни. Детство, Петербург, Крым, Юность, Университет, Париж, Слава в заграничных эмигрантских реалиях становятся судьбоносными темами, требующими осмысления и надлежащей оцен-ки. В другой части поэм преобладает вольный вымысел, сказочные или фантастические сюжеты – «На севере диком», «Легенда о луне», «Солнечный сон». Вместе с тем в «Солнечном сне» автобиографического материала (сватовство и расторжение помолвки со Светланой Зиверт, одиночество, интуитивное желание следовать своему дару) не меньше, чем в реалистичной до документальности «Юности». По-своему автобиографичен «Olympicum», близкие Набокову спортивные темы которого (теннис, футбол) повторяются и варьируются в «Юности» и в «Университетской поэме».

В поэмах 1920-х гг. взгляд из эмигрантского настоящего на ностальгически переосмысленное русское прошлое соединяется у Набокова со стремлением противостоять новым течениям в советской литературе. Пафосу строительства нового общества, классово-идеологии, нововведенным искусственным терминам и понятиям советской России он противопоставляет подлинное, исконное, единственно подлежащее сохранению и продолжению в чужой среде:

¹ Набоков В. Другие берега. М.: АСТ: Corpus, 2022. С. 273–274.

русскую поэтическую традицию, европейскую петербургскую культуру и изысканный столичный русский язык. Тоска по загубленной великой и блистательной России предков завуалированно звучит в сумрачной поэме «На севере диком» и в «Легенде о луне», в которой катастрофа, постигшая древнее царство, причудливо отражает революционные события в России, Гражданскую войну и интервенцию. В поздних «Славе», «Парижской поэме» и «К князю С. М. Качурину» Набоков подводит итоги своего довоенного этапа творчества и помимо той же старой ностальгии по России собственного счастливого детства обращается к новой автобиографической теме: мучительному переходу с русского языка на английский и своей вторичной эмиграции в Америку.

Из ранних поэм Набокова «Электричество», «На севере диком» и «Солнечный сон» – наиболее яркие по замыслу и образному ряду. Последняя из трех, написанная в феврале 1923 г., завершает ювенильный и ученический периоды творчества Набокова и наряду с эссе об английском поэте Руперте Бруке (1922) остается его высшим достижением 1918–1923 гг. Эта поэма об одаренном шахматисте относится к переходной поре писательского становления Набокова, кульминацией которой стало самое крупное его поэтическое произведение, пятиактная «Трагедия господина Морна», оконченная в начале 1924 г.

Неудача с постановкой и публикацией «Морна» и поиски новых средств выражения побудили Набокова задуматься наконец о большой прозе. В том же году он принимается за свой первый, так и не воплощенный роман «Счастье», который к концу 1925 г. полностью переписывает под названием «Машенька». Своеобразие писательского развития Набокова состоит в том, что его переход к романной форме был подготовлен в равной мере сочинением в начале 1920-х гг. нескольких рассказов (прежде всего «Картофельный эльф», «Удар крыла», «Венецианка»), пьес, сценариев и двух длинных нерифмованных поэтических произведений, «Солнечного сна» и «Трагедии господина Морна»: отказавшись от рифм ради большей повествовательной свободы и более сложной композиции, он приобрел опыт, который позволил ему в 1924–1925 гг. не только изменить направление своего искусства, но и по существу *состояться*.

В настоящем собрании впервые публикуются поэмы «Двое» (1919), «Легенда о луне» (1920), «Электричество» (1920), «На севере диком» (1920); текст «Солнечного сна» (1923) заново сверен с рукописью, исправлены многочисленные ошибки предыдущих публикаций «Юности» и «Университетской поэмы».

Вне настоящего собрания остается английская поэма Набокова «Бледный огонь» («Pale Fire»), состоящая из 999 строк и сочиненная для одноименного романа (1962), в котором она становится объектом изучения и спекуляций со стороны публикатора. Метрические особенности этого самого крупного английского поэтического произведения Набокова отчасти передают публикуемые нами в *Приложении* стихи о Супермене, написанные теми же рифмованными героическими двестишиями пятистопного ямба (heroic couplet), традиционно используемыми в английской эпической и повествовательной поэзии, которые были доведены до классического образца Александром Поупом (1688–1744).

Готовя во второй половине 1970-х гг. итоговый сборник своих русских стихов, вышедший в «Ардисе» уже после его смерти, Набоков включил в него лишь несколько поэм: «Из калмбрудовой поэмы “Ночное путешествие”», «Слава», «Парижская поэма», «К князю С. М. Качурину». В настоящем издании примечания Набокова к этим произведениям публикуются в Комментарии.

Приношу выражение глубокой признательности сотрудникам Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына (Москва) за предоставление первых и редких публикаций поэм Набокова для сверки текстов.

Поэмы 1918–1947

Детство

i

При звуках, некогда подслушанных минувшим, —
любовью молодой и счастьем обманувшим, —
пред выцветшей давно, знакомою строкой,
с улыбкой начатой, дочитанной с тоской,
порой мы говорим: ужель все это было?
И удивляемся, что сердце позабыло;
какая чудная нам жизнь была дана...

ii

Однажды, грусти полн, стоял я у окна:
братишка мой в саду, – Бог весть во что играя, —
клат камни на карниз. Вдруг, странно замирая,
подумал я: ужель и я таким же был?
И в этот миг все то, что позже я любил,
все, что изведал я, – обиды и успехи, —
все затуманилось при тихом, светлом смехе
восставших предо мной младенческих годов.

iii

И вот мне хочется в размер простых стихов
то время заключить, когда мне было восемь,
да, только восемь лет. – Мы ничего не просим,
не знаем в эти дни, но многое душой
уж можем угадать. – Я помню дом большой,
я помню лестницу, и мраморной Венеры
меж окон статую, и в детской – полусерый
и полузолотой непостоянный свет.

iv

Вставал я нехотя. (Как будущий поэт,
предпочитал я сон действительности ясной.
Конечно, – не всегда: как торопил я страстно
медлительную ночь пред светлым Рождеством!)
Потом до десяти, склонившись над столом,
писал я чепуху на языке Шекспира,
а после шел гулять...

v

Отдал бы я полмира,
чтоб снова увидеть мир яркий, молодой,
который видел я, когда ходил зимой
вдоль скованной Невы великолепным утром!
Снег, отливающий лазурью, перламутром,
туманом розовым подернутый гранит, —
как в ранние лета все нежит, все пленит!

vi

Тревожишь ты меня, сон дальний, сон неверный...
Как сказочен был свет сквозь арку над Галерной!
А горка изо льда меж липок городских,
смех девочек-подруг, стук санок удалых,
рябые воробьи, чугунная ограда?
О сказка милая, о чистая отрада!

vii

Увы! Все, все теперь мне кажется другим:
собор не так высок, и в сквере перед ним
давно деревьев нет, и уж шаров воздушных,
румяных, голубых, всем ветеркам послушных,
на серой площади никто не продает...
Да что и говорить! Мой город уж не тот...

viii

Зато остались мне тех дней воспоминанья:
я вижу, вижу вновь, как, возвратясь с гулянья,
позавтракав, ложусь в кроватку на часок.
В мечтаньях проходил назначенный мне срок...
Садилась рядом мать и мягко целовала
и пароходики в альбом мне рисовала...
Полезней всех наук был этот миг тиши!

ix

Я разноцветные любил карандаши,
пахучих сургучей густые капли, краски,
бразильских бабочек и английские сказки.
Я чутко им внимал. Я был героем их:
как грозный рыцарь смел, как грустный рыцарь тих,
коленопреклонен пред смутной, пред любимой...
О, как влекли меня – Ричард непобедимый,
свободный Робин Гуд, туманный Ланцелот!

x

Картинку помню я: по озеру плывет
широкий, низкий челн; на нем простерта дева,
на траурном шелку, средь белых роз, а слева
от мертвой, на корме, таинственный старик
седою головой в раздумии поник,
и праздное весло скользит по влаге сонной,
меж лилий водяных...

xi

Глядел я, как влюбленный,
мечтательной тоски, видений странных полн,
на бледность этих плеч, на этот черный челн;
и ныне, как тогда, вопрос меня печалит:
к каким он берегам – неведомым – причалит,
и дева нежная проснется ли когда?

xii

Назад, скорей назад, счастливые года!
Ведь я не выполнил заветов ваших тайных,
ведь жизнь была потом лишь цепью дней случайных,
прожитых без борьбы, забытых без труда.
Иль нет, ошибся я, далекие года!
Одно в душе моей осталось неизменным,
и это – преданность виденьям несравненным,
молитва ясная пред чистой красотой.
Я ей не изменил, и ныне пред собой
я дверь минувшего без страха открываю
и без раскаянья былое призываю!

xiii

Та жизнь была тиха, как ангела любовь.
День мирно протекал. Я вспоминаю вновь, —
безоблачных небес широкое блистанье,
в коляске медленной обычное катанье
и в предзакатный час – бисквиты с молоком.
Когда же сумерки сгущались за окном,
и шторы синие, скрывая мрак зеркальный,
спускались, шелестя, и свет полупечальный,
полуотрадный ламп даль комнат озарял, —
безмолвно, сам с собой, я на полу играл;
в невинных вымыслах, с беспечностью священной,
я жизни подражал по-детски вдохновенно;
из толстых словарей мосты сооружал,
и поезд заводной уверенно бежал
по рельсам жестяным...

xiv

Потом – обед вечерний.
Ночь приближается, и сердце суеверней.
Уж послана постель, потушены огни.
Я слышу над собой: «Господь тебя храни...»
Кругом чернеет тьма, и только щель дверная
полоской узкою сверкает, – золотая.
Блаженно кутаюсь и, ноги подбрав,
вникаю в радугу обещанных забав...

Как сладостно тепло! И вот я позабылся...

xv

И странно: мнится мне, что сон мой долго длился,
что я проснулся – лишь теперь, и что во сне,
во сне младенческом приснилась юность мне;
что страсть, тревога, мрак – все шутка домового,
что вот сейчас, сейчас ребенком встану снова
и в уголку свой мяч и паровоз найду...
Мечты!..

xvi

Пройдут года, и с ними я уйду,
веселый, дерзостный, но втайне беззащитный,
и после, может быть, потомок любопытный,
стихи безбурные внимательно прочтя,
вздохнет, подумает: он сердцем был дитя!

21–22 августа 1918

Двое Современная поэма

*Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.*

Блок

i

Обыкновенный сад старинный,
обыкновенный старый дом...
Друзьям и недругам о нем
я передам рассказ недлинный.
В стихах незвучных и простых
благословлю я жизнь живую,
изобразю я роковую
нежданную судьбу двоих...
Скажу о прихоти жестокой
моей России одинокой,
моей России бредовой, —
лишь с оговоркой: при больной
не рассуждают о болезни.
Поэт не должен проклинять,
а уповать иль вспоминать...
Итак, действительность, исчезни!

ii

От разрушительных затей,
от причитающей печали
мы отвернемся, но едва ли
былое близкое светлей.
.....
Душой и телом крепок, строен
и как-то весело-спокоен —
таков был в эти дни Андрей
Карсавин, химик и зоолог.
Еще и в школьные года
им путь намеченный всегда
был и не труден и не долог.
Потом, обласканный судьбой,

он за границу учился,
вернулся, через год женился
на поэтессе молодой,
и, диссертацию большую
о мимикрии защитив,
в свою усадьбу родовую
с женой уехал.

iii

Молчалив
был этой жизни вдохновенной
уют блаженно-неизменный...
А руль невидимый времен
в ту пору повернулся круто.
Россия билась в муке лютой,
России снился грозный сон:
нечеловеческие лица
и за зарницею зарница
над полем взрытым, и кругом
непрерывающийся гром,
и звучно реющая птица
в кольце белеющих дымков,
среди безмятежных облаков...

iv

Освобожден от службы ратной
по тем причинам, что для вас
не драгоценны, вероятно,
да удлинили бы рассказ, —
не беспокоился Карсавин,
жил, негой мудрой окружен;
меж тем, зловеще-своенравен,
вновь изменился бег времен.
Настала буйная година...
Самосознание гражданина
самосознанием бытия
в душе Андрея заслонялось
и в дни позора не сказалось.
Грешно – нет спора; но ни я,
ни вы, читатели, не смеем
его за это осуждать
и сходство тайное с Андреем
в себе самих должны признать.

Воскликнут гневные потомки,
вникая в омут дел былых:
«Ввысь призывал их голос громкий,
да отставало сердце их!»

v

Ирину нежную – подавно
все это мучить не могло.
Очарованье жизни плавной
в ней жрицу чуткую нашло.
Она любила вдохновенья
сладчайший яд, и льстило ей
перебирать в тиши ночей
слов оживающие звенья;
но дар ее не поражал
ни глубиной, ни силой страстной...
Лишь некой женственностью ясной
необычайно привлекал
стих, – и порывистый, и тихий,
как падающая звезда:
в строке ямбической всегда
был упоительный пиррихий.
О далях жизни, о мечтах
так пело сердце безмятежно,
и рифмы вздрагивали нежно,
как блики света на листьях...

vi

Их белый дом версты на две-три
от сельских пашен отстоял.
Бывало, при восточном ветре,
звон колокольный долетал.
Их ограничивал прогулки
бор величавый, глухо-гулкий,
как ночь, синеющий вокруг.
Жизнь протекала без печали,
газет они не получали
и не слышали толков слуг.
Когда же, охая тревожно,
твердил им старичок-лакей:
«Да мало ль что теперь возможно,
езде разбойники!» – Андрей,
невозмутим, самообманут,

с улыбкой мягкой возражал:
«Что ж, пошлют и перестанут...»

vii

Их мирный рай напоминал
покой благоуханно-нежный
уединенного гнезда
в ветвях черемухи прибрежной,
нависших над рекой мятежной...
И пусть волнуется вода,
и пусть волной вольнолюбивой
скат размывается крутой —
птенцы, неведеньем счастливы,
лишь небо видят над собой!

viii

Вообрази, читатель, темный,
от снега весь лиловый сад,
тень длинную сосны огромной
и тускло-палевый закат.
Мы обойдем, мой друг минутный,
усадьбу старую кругом,
в окне увидим луч уютный
и в дом, незримые, войдем.
Над зеркалом рога олени,
перчатки на столе пред ним...
Идем-ка дале: подозренья
мы все равно не возбудим.
Сюда. Налево. Приоткроем
мы осторожно эту дверь.
С Карсавиным, с моим героем,
ты познакомишься теперь...

ix

Просторна комната простая...
Свет под зеленым колпаком
белеет, мягко озаряя
чешуекрылых под стеклом
разнообразное собранье;

и, сгорбившись в кругу лучей,
карандашом шуршит Андрей.
То – по-латыни описание
мохнатой бабочки одной,
им найденной близ Понтрезины,
на молодом листке осины,
в тринадцатом году, весной...

X

Тебе завидую, ученый:
отрадно творческим умом
миров угадывать законы
по жилке на крыле сквозном.
Отрадно: нравы и строенье
существ малейших изучать
и вековое их значенье
в сопоставленьях постигать.
И счастлив тот невыразимо,
кто может ясность мудреца
согласовать неразделимо
с благоговением жреца, —
в ком жаждой истины, познания,
холодной, точной простоты
не заглушается сознание
нерукотворной красоты!

xi

Так – медленно, в труде беззвучном
блаженный протекает срок...
Пора и кончить.

Мотылек

снабжен уж именем научным
и тем языческим значком,
каким на картах астроном
звезду Венеру отмечает...
Пора – но надо перечесть,
неточности, какие есть,
исправить.

xii

Небо потухает.
В оцепененьи ледяном
сад принимает тени ночи.

Покинув кабинет рабочий,
в другую комнату войдем.

Глядит в окно, мрачнеет хмуро,
как нищий безнадежный, день.
От шелкового абажура
прозрачно-розовая тень
легла на кружево подушки.
Свет неподвижный серебрит
фарфоровые безделушки,
и в бликах радужных горит
на ширме лаковой, китайской,
хвост огнецветный птицы райской.

xiii

У добродушного камина,
в полусияньи, в полутьме,
вникает с трепетом Ирина
в сонет туманный Мал<л>армэ.
Но ненадолго. Понемножку
взор отклоняется от строк,
на смутный смотрит потолок...
Ласкает бархатную кошку
все тише тонкая рука.
Сидит Ирина, – молчалива,
о чем-то думает лениво,
чуть улыбается, слегка.
Андрея к бабочкам ревнует,
и все нежнее и нежней
сон легкий, наклонясь над ней,
глаза усталые целует.

Вот на медвежий белый мех
сползает книга... Сновидений,
переплетаясь, реют тени...
Вдруг – дорогой, звенящий смех
и на плече прикосновенье
знакомых губ...

xiv

«Ну, полно спать!

Как муза томная Парнасца
умеет ласково подкрасться
и невзначай околдовать!» —
«Ах нет! Я попросту устала
и сон все тот же снился мне, —
вздыхнув, Ирина отвечала. —
Мне вновь мерещилось во сне —

xv

пергамент серо-золотистый
венецианских вечеров
и над лагуною лучистой
напевы струн и голосов.
Там – тень гондолы удлиненной,
там однозвонный ропот струй,
там каждый возглас отдаленный
и каждый смутный поцелуй —
не песнь, а призраки созвучий,
не страсть, а странствующий сон,
не жизнь, а канувших времен
вздых перелетный, вздох певучий...»

Ее не прерывал Андрей;
в нем спорили мечта и разум;
он бы хотел поверить ей,
но по случайным знал рассказам,
что разочарованье ждет
Ирину, что мечты напрасны:
по золоту лагуны ясной
ползет дымящий пароход...

xvi

В лиловой спальне молчаливой
распространился мягкий мрак,
и ждал Андрей нетерпеливо...
Он приближающийся шаг

услышал с дивным содроганьем,
и розовое кимоно
повеяло благоуханьем...
Луч пробежал... и вновь – темно.
О холодок объятий сладкий!

xvii

Чуть шелестели кружев складки;
и сокровенные пути
на сумеречно-нежном теле
уста скользящие умели
во мгле извилистой найти.
И ласкам трепетным учила
все возрастающая страсть,
и в бездну близкую упасть
и не давала, и манила.

Счастливы! Пламенных имен,
внушенных первыми ночами,
не забываете, и вами
их звук полнее повторен.
И страсть привычною не станет,
и, углубляясь без конца,
очарованье не завянет
и не насытятся сердца!

.....

xviii

Был вечер ветренный.

Ирина

играла Моцарта, и стон
сквозных аллей был заглушен
прозрачным смехом клавесина.
И трепет маленькой руки,
и у затылка завитки,
чуть золотые, занимали
Андрея более, чем плеск
созвучий пляшущих.

По зале

тень протянулась. Только блеск
бледно-рубиновый камина
алел во мгле, как георгина,
взлетал, как призрак мотылька, —

и озарял – то легкий локон,
то мрамор статуи меж окон,
то край лепного потолка.

хix

Рассеялись внезапно звуки...
Ирина встала, и в глазах
как бы крылатый вздрогнул страх —
предчувствие безвестной муки...
«Мне жутко...» – молвила она.
«Но почему?» Сама не знает...
Порой – так сердце замирает
в зеркальных лабиринтах сна.
«Мне жутко...» Пристально-угрюмый
взгляд устремился вниз, в огонь.
«Ну успокойся, ну, не думай...» —
и целовал ее ладонь
Андрей, тревожно-удивленный;
но только с нежностью влюбленной
хотел обнять ее, как вдруг
шум за дверьми услышал странный,
звон дребезжащий, звон стеклянный,
и возглас, и тяжелый стук;
потом – слуги дрожащий шепот,
смех наглый, торопливый топот,
гул незнакомых голосов,
и, сыростью повея снежной,
вошли двенадцать мужиков,
в шинелях, с ружьями...

хх

Небрежно

в карманы руки заложив,
Карсавин ждал, что будет дале...

Они остановились в зале,
его безмолвно окружив.
Потом один, с подбитым глазом,
Андрея за плечо схватил.
Тот, вспыхнув, руку отстранил,
и щелкнули затворы разом...

xxi

Последовала тишина.
Ирина, холодно-бледна,
надменно сжав сухие губы,
прижалась к мужу. Вздрыгнул он.
«Эй, к стенке!» – грянул окрик грубый.
Тогда, спокоен, озарен
душевной силою, без слова,
как укротитель среди зверей,
всех взглядом удержал Андрей
и одного, потом другого
ударив кулаком в лицо,
Ирину поднял, как ребенка,
и мимо, мимо, на крыльцо,
в сад, по сугробам... Хлопнул звонко
вдогонку выстрел... но Андрей
с бесценной ношей своей
в аллее скрылся беспросветной.
Бежал он, не жалея сил,
но уж слабел, слабел заметно,
и задышался, и скользил...

За ним не гнались; рассудили,
что никуда он не уйдет:

в деревне живо бы скрутили,
а в поле – сам и пропадет.

xxii

А между тем, изнемогая
и спотыкаясь каждый миг,
в снег по колено увязая,
он бора мрачного достиг.
Хвоя туманная звенела.
Андрей, порывисто дыша,
остановился. В нем душа
беспомощно оцепенела...
Все отошло – и боль, и страх;
а мысли – мысли, как слепые,
блуждали, странные такие,
все о ненужных пустяках...

На снег недвижную Ирину

он опустил. Над головой
она вдруг повела рукой,
как бы срывая паутину;
вдохнула и очнулась...

xxiii

Мгла

с небес тяжелая текла.
Был жуток ветра шум окрестный
и скрип скрежещущий стволов.
Из-за бегущих облаков
вдруг выглянул мертвец небесный;

разорвалась густая мгла;
раскрытым веером упали
на снег лучи и засверкали, —
холодные, как смерть сама.

xxiv

При этом отблеске те двое
увидели перед собой
то грозное, то слепо-злое,
что прежде кралось стороной:
мир бешенства, борьбы и боли...
Меж тюрем уродливая даль...
Уж красоты не будет боле,
а сердце бьется, сердцу жаль...
Где радость творческого духа?
Где жизни вольные права?
Ирина застонала глухо,
сказала страшные слова:

xxv

«Пустынно, холодно, бессвязно...
Мы умираем, слышишь – ты?
Наш дом поруган безобразно:
горстями вырваны листы
из книг, переплетенных пухло...
Все отзвучало, все потухло...

Твой самый пестрый мотылек,
быть может, к картузу приколот...
Безумие, пустыня, холод...
Бог непонятен и жесток!

xxvi

А мы – лелеяли мы нежно
мертворожденные мечты!..»
Глядит, – но странно безмятежны
Андрея тонкие черты.
Хоть были милы наслажденья,
хоть преждевременен конец, —
смерть принимает без смятенья
эпикурец и мудрец!
«А жить в среде невыносимой
преступников или невежд,
тревогой будничной томимый,
лишенный неги и надежд, —
надломленность и бледность видеть
Ирины горестной моей,
и всех и все возненавидеть —
нет, не хочу!» – сказал Андрей.

xxvii

Стоял он, твердый и спокойный,
обняв Ирину, а над ним
неугомонно ропот хвойный
звучал отчаяньем глухим.
И оба смутно замерзали.
В каком-то вещем забытии
они склонялись и шептали
слова бессмертные любви.
И только раз, в приливе муки,
не в силах ничего забыть,
Ирина, стирая руки,

воскликнула: «Ах, только б жить!»
Но поцелуем леденящим
был безнадежный прерван крик,
и вот за облаком скользящим
полуоткрылся лунный лик.
И ропот сосен одиноко
во мгле нахлынувшей утих, —

как бы смиряясь пред жестокой
судьбой двух жизней молодых.

xxviii

Когда же нежно-нежно красной
пыльц<о>й подернулся восток,
на пряжке туфельки атласной
луч боязливый изнемог.

И зашушукал ветер сонный,
и встрепенувшимся крылом
сорока с ветки оснеженной
стряхнула серебристый ком.
И в чистом воздухе – лучистый,
он, рассыпаясь, просиял,
на чьи-то женственные кисти
цветными искрами упал.
И прояснилась дымка бора,
и засинели небеса;
со стороны усадьбы скоро
раздался хохот, голоса;
шаги скрипели, приближались...
Вдруг шапки, ружья показались
из-за белеющих ветвей.

xxix

Грядите ж, мстители! смелей!
Вот он – помещик окаянный,
вот – кровопиец, и она —
его проклятая жена!

Шли мужики, притихнув странно,
как псы, косясь на трупы их;
но, отделившись от других,
один нагнулся над Ириной,
с руки замерзшей снял кольцо,
взглянул с усмешкою звериной
и плюнул в мертвое лицо.

Ливадия
15–21. I. 19

Легенда о луне

i

Однажды ночью золотою
затейливый и злобный бес
кружился черной запятою
в сиянии девственных небес.
Пред ним был город, и увидел
он человека в вышине,
на темной башне, при луне;
и бес его возненавидел
за блески звезд на рукавах
и за колпак остроконечный.

ii

Он усмехнулся с бесконечной,
бесстыдной злобою в глазах
раскосых, быстро оглянулся,
подумал, снова усмехнулся, —
среди многозвездной тишины
и небо ярче заиграло:
бес принял облик небывалый —
огромной выпуклой луны.

iii

И странное светило это
приметил с вышки человек,
и вычислял он до рассвета
его размеры и разбег.
Когда ж лениво ночь поблекла
и день сказался наконец,
сложил он свитки, вытер стекла —
на вид – бесчувственный мудрец,
но втайне – ужасом объятый...

iv

Как розы, тучи расцвели
над чашей города зубчатой.
В тумане площади, вдали,
на глыбе вспыхнул воин медный
и на щите поймал зарю.
И звездочет спустился, бледный
и важный, с башни, и к царю
вошел с неслышанным докладом.

v

И хмуро слушал царь, а рядом
склонялся в зеркале стенном
его двойник – полуодетый,
босой, в измятом кружевном
воротнике...
(Меж тем валеты
трефовые, у трех ворот,
скликались и сменялись, и народ
уже гудел на рынке жирном.)

vi

И долго скорбный звездочет
с царем беседовал, и вот —
по переулкам, сонным, мирным,
вдоль окон мутно-золотых,
где тени двигались, зевая, —
труба пропела роковая,
и город вздрогнул и притих.

vii

Был мрачен траурный глашат<а>й.
Народ, предчувствием объятый,
глядел на тонкую трубу,
на свиток с царскою печатью,
сулящий страшную судьбу,

и дети прижимались к платью
дрожащих юных матерей,
и старцы горбились покорно,
а некий юноша задорный:
«Прочти, – вскричал, – прочти скорей!»

viii

И вестник, обратясь к народу:
«Мудрец пророчествует смерть, —
конец всему людскому роду:
вчера полуночную твердь
луна иная озарила.
Она чудовищна была,
неописуемо светла!
Увы, как вздутое ветрило,
летит изменница на нас;
в такой-то день, в такой-то час
с землей стремительно столкнется
слепая, буйная луна, —
земля звенящая качнется
и разобьется, как волна!»

ix

Замолк, и весть передавали
друг другу – лысые купцы,
вельможи, воины, слепцы;
все – дрозд на липе, мышь в подвале, —
все ужаснулись. Поползли
по плитам площади, в пыли,
себя бичующего стоны.
Во храмы хлынула толпа.
Подкралась ночь. Молились жены,
а детям снились черепа.

x

Одни все думали о чуде,
другие чуяли конец,
и бледные глядели люди
на бледно-каменный дворец.

Там рядом встали на балконе
два старика: вот тот в короне,
а тот в узорном колпаке.
Народ же зыблился и дико
вопил, в неистой тоске:
«Когда? О, вымолви, владыко!»
Заплакал царь, и звездочет
ответил сухо: «Через год».

xi

В том царстве некий жил мечтатель,
с душою чистой и с лицом
очаровательным – ваятель
созвучий радужных. Певцом
любви сладчайшим город громко
именовал его с тех пор,
как со свирелью и к<о>томкой
пришел он с северных озер.

xii

Казалось – воздух целовали
его скользящие слова
и день туманился, едва
он умолкал. Куда-то звали
его глаза, – как в полутьме
два улыбающихся бога.
Он жил на розовом холме,
поросшим вереском. Дорога
крутая к городу вела,
и часто к людям он спускался,
без шляпы, стройный, появлялся
на площади Добра и Зла,
разглядывал прохожих, кротко
о чем-то говорил с детьми,
с блудницами да с лошадыми
усталыми... Его походка,
и ясный голос, и глаза
большие были всем известны,
и все его любили за
чудесный дар и взор чудесный.

xiii

Он о блаженстве распевал,
о первой, о последней встрече,
хоть никогда в уста и плечи
он красоту не целовал...
Там, в комнате голубоватой,
среди нежных книг и лепестков
рассыпанных, и малых статуй, —
из лучезарных облаков
он прихотливо и бесцельно
стихи вырезывал свои,
напев мешая колыбельный
с напевом трепетной любви...

xiv

Когда ж над стройною столицей,
как бога пламенного мечь,
метнулась грозною зарницей
испепеляющая весть,
и стук часов твердил унылый:
стареет год, последний год... —
и принял скорбь и страх бескрылый,
как веру новую, народ, —
тогда с улыбкой безотчетной
певец ресницы опустил,
и гений легкий, мимолетный,
его случайно посетил.
И юноша, раскинув руки,
ловил в туманной вышине
полусознательные звуки...
Они, как искорки в волне
заливов южных, ночью пышной, —
текли, змеились в золотом
волшебном трепете; потом —
на пальцах гасли.

И неслышно

он начал: «Тает, тает год.
Во храмах сумрак шепчет хрипло
молитвы. Тают свечи. Вот
какой-то труп лежит. Прилипла
кровь черная к груди. Глупец!
Убил себя... Везде рыданья
глухие, тайные страданья,

оцепененье; лишь купец
хоть плачет, да торгует – плохо
торгует. Жить осталось – год,
и он проходит, он пройдет —
подобно вздоху, легче вздоха...

xv

Но если так, но если свет
потухнуть должен неизбежно,
безумец! – времени ведь нет
пред камнем каяться мятежно,
из мрака совести своей
уродов грозных вызывая
и духу скорби отдавая
остаток драгоценных дней...
Встань, встань, коленопреклоненный!
Я говорю тебе – не плачь,
но, как наследника лишенный,
всю жизнь скупившийся богач,
завидя смерть, затеи ради
распахивает сундуки,
так, обогнув скалу тоски,
вечерний путь склонив к отраде,
спеши! Беспамятно пируй!
Развейся музыкаю бурной.
Еще на солнце гроздь пурпурна
и сладок женский поцелуй!
Еще, полны очарованья,
шумят леса, журчат ключи, —
встань и в избытке ликованья
свое богатство расточи!»

xvi

Был май шумливый. В исступлен<ь>и
лягушки пели на пруду
в дворцовом золотом саду.
При каждом теплом дуновеньи
касались окон расписных
венцами нежными каштаны.
На вышках, тонких и резных,
с которых полуобезьяны,
полуорлы глядели вниз,
и в небесах прозрачно-синих

звон птичий бисерный повис;
об этих маленьких святынях
весны не вспомнила страна,
пророчеством потрясена.

xvii

Глухой исполненный печали,
из зала в залу царь шагал —
тень жалкая в зеркальной дали
безмолвных и бесстрастных зал.
Блуждал он, глаз не поднимая,
ладони блеклых, узких рук
к вискам порою прижимая,
и кольца вспыхивали вдруг.

xviii

В восточной башне плакал кто-то:
душе седого звездочета
все край мерещился родной:
ограды белые Дамаска,
тень пальмы – бархатная ласка
в пустыне серо-голубой, —
и тамариксы, и мимозы,
миражей радужная ложь...
Катились старческие слезы
на недоконченный чертеж.

xix

В час обычного забвенья,
в молчаньи замкнутых ночей
порою тайный чародей
к нам высылает сновиденья.
Сознанье – словно под водой
глубокой, в дымке изумрудной;
нам снится праздник многолюдный,
туманный, бурно-молодой,
и знаем мы, что это ложный
короткий сон и что во сне
все, все дозволено; что можно

не думать о грядущем дне;
законами людскими, честью,
обычаем – пренебрегать;
врага со смехом настигать,
роскошной упиваться мезью;
грозить безумно Божеству,
храм в бездну сталкивать со ската;
овладевать невестой брата,
недостижимой наяву...

xx

И ту свободу без запрета,
ту силу – каждый ощутил,
когда невинного поэта
напев дразнящий опустил
свои блистательные крылья
на город жалобной тоски,
предчувствий траурных, бессилья...

xxi

Придворные – все старики
с атласно-белыми бровями, —
шурша, как совы, подошли
к царю с дрожащими словами:
«Царь, всюду ропот. Подождли
вчера солдаты синагогу.
На неотпльвшем корабле
восстанье. Знойную тревогу
разносит ветер по земле.
Чернь беспокойна. Слуги наши,
не отворачивая глаз,
глядят с усмешкою на нас,
а по ночам воруют чаши —
награды царские. Народ,
на перекрестках собираясь,
шумит, и, громко разгораясь,
напев кощунственный растет!»

xxii

«Оставьте... – молвил царь устало. —
Смиренье, бунт – не все ль равно,
когда нам времени так мало
служить иль властвовать дано?»
Переглянулись, замолчали, —
и царь, как прежде, зашагал —
тень жалкая в зеркальной дали
холодных, золотистых зал.
И в тот же вечер, в пышной спальне,
таясь, печален и один,
глухие песни, ропот дальний,
услышал старый властелин.
И полый жемчуг с горьким ядом
прижал он к языку, поник,
обняв пунцовый стул... и рядом,
в высоком зеркале, двойник,
с лицом безумным, перегнувшись,
сполз на ковер, и в полутьме
сверкнули кольца, содрогнувшись
на зашуршавшей бахrome
блестящей шелковой подушки,
да скрипнул пол среди тишины...

xxiii

Меж тем округлый край луны
уж выступал из-за опушки
далекой рощи. Небосвод
бледнел. По лестнице змеиной
всходил на башню звездочет...
Воображаемой картиной
он был томим, и тяжело
дышал, и вспоминал уныло,
что двадцать семь ночей прошло
с тех пор, как страшное светило
в последний раз он наблюдал
и смысл его предугадал.

xxiv

Скитаться по небу ночному,
по голубому, ледяному —
без ног, без рук, но с головой
чудовищной, стеклянno-белой, —
давно уж бесу надоело.

К тому ж на башне угловой
дворца, чернеющего стройно,
он жертвы крошечной своей
такой смешной, такой спокойной —
уж не видал в часы ночей.
И отвернулся он от башни,
забыл случайного врага
и принял облик свой всегдашний:
хвост песий, когти и рога.

XXV

А перед взором звездочета
теперь, туманна и нежна,
как девственное сердце чье-то,
раскрылась прежняя луна.
Простер он руки, умиленный,
застыл со вздохом, как влюбленный,
вдруг различивший белый луч
руки, раскрывшей занавески;
и над землей, в жемчужном блеске,
узором мелких, нежных туч,
подобных перьям голубиным,
со всех сторон окружена —
струилась милая луна
по звездно-дышащим равнинам...

xxvi

Был снова строг и счастлив он.
В нем думы ясные воскресли
и свергли темный страх: «Не весь ли
чудесный мир теперь спасен?
И нужно ль сетовать отныне?
Уж не покоится на льдине,
коварно тающей средь волн
небытия сторожевого,
наш город царственный; он снова,
великих грез и смеха полн,
к луне потянется, прощенный...»

xxvii

Так думал он, и, восхищенный
лучистой нежностью небес,
он не приметил, как полз,
повис огонь пожара, словно
паук багровый, там, внизу,
на паутине крыш неровной.
Другой услышал бы грозу
нестройных песен, гул, удары,
могучий шум толпы – как вздох
прибоя тяжкого, – но старый
мудрец от радости оглох.
Вот тень его на башне четкой
исчезла, звонкою походкой,
с улыбкой детской, подобрав
полы, спускался он поспешно
меж круглых стен: да, да, конечно,
он опрометчив был, неправ;
сейчас к царю пойдет он, скажет:
царь, не тужи... Небесный свод,
как прежде, тих, и царь прикажет
гонцам порадовать народ!

xxviii

И вышел он на двор квадратный,
и, выйдя, замер: гул невнятный
из мрака хлынул; впереди
мелькали перья, копыя, латы,
кривые тени... «Отойди,
безумье! – выбросив крылатый
рукав, воскликнул звездочет. —
Я весть несу!» Но крик упорный
его прервал: «Вот, братья, вот —
колдун заморский, ворон черный,
а мы, – мы мучимся, пока
над нами шутит он с Нечистым!»
И камень, пущенный со свистом,
в висок ударил старика...

xxix

И минул год, и ночью млечной,
прозрачной, снова на людей
решил взглянуть певец беспечный.
О песни огненной своей
и о пророчестве злосчастном
он в одиночестве забыл,
и видом города ужасным
мечтатель опечален был.

xxx

Кругом гремучие пожары
краснели. В городе самом,
меж светлым морем и холмом,
был ропот, шепот, праздник ярый.
Тут – оглушительная мгла,
там – выкрик пламени. Тут – ссора,
а там – убийство. Без разбора
сцеплялись голые тела
в книгохранилище громадном,
где пировали палачи,
монахи, женщины. В ночи,
на улицах, во мраке смрадном, —
что, что там рдело до утра —
вино ли, злобные глаза ли,
иль только искры от костра?
Бог весть! Во храмах псы лизали
окровавленный мрамор плит,
и человек освобожденный
так поступал, как повелит
зверь вождельня пробужденный...
(И лишь танцовщица одна
порою, глядя из окна
в лиловый сумрак, да на звенья
созвездий в сонной вышине,
полна внезапного сомненья,
дивилась маленькой луне,
такой же скромной, как бывало,
и смутно думала: как знать?
Но, звякнув бусами, опять
кого-то в губы целовала...)

xxxі

Так было... Город роковой,
огонь и мрак, уж неживой,
певец окинул грустным взором,
и поутру, и в тишине
к своим лесам, к своим озерам
вернулся с песней о луне...

xxxіі

За горем – горе: царь соседний
напал на падшую страну,
разбил с налета храм последний,
и в унижительном плену
угасло буйственное племя.
Несбережливо злое время —
и в наши дни на месте том,
в золотозвездном, юном поле,
меж серым морем и холмом,
поросшим вереском, в неволе
у строгой вечности лежат
глухие глыбы, и зажат
в какой-то щели куст цветущий,
и льется холод старины,
однообразный и гнетущий,
сквозь тень душистую весны.
Кой-где торчат еще упрямо
обломки рухнувшего храма,
чернея сухо над травой,
как обгорелые поленья.

xxxііі

Стремительные поколенья!
Потух, остыл их век живой.
Так стынет пламенная лава...
Забыта сладостная слава
их первых странствий, гулких битв,
и суеверные науки.
Умолкли песен и молитв
неповторяемые звуки,

и лишь волнует тишину,
цветы целуя, ветер плавный...
Там проезжал я, скиф бесславный, —
и вспоминал свою страну.

20–28. VI. 20

Крым

Назло неистовым тревогам,
ты, дикий и душистый край,
как роза, данная мне Богом,
во храме памяти сверкай.
Тебя покинул я во мраке:
качаясь, огненные знаки
в туманном небе спор вели
над гулом берегов коварных.
Кругом, на столбиках янтарных,
стояли в бухте корабли.
В краю неласковом скучая,
все помню, – плавные поля,
пучки густые молочая,
вкус теплых ягод кизилля.
Я любовался мотыльками
степными, – с красными глазками
на темных крылышках... Текла
от тени к тени золотистой,
подобна музыке волнистой,
неизъяснимая Яйла!

О, тиховейные долины,
полдневный трепет над травой,
и холм – залет перепелиный...
О, странный отблеск меловой
расщелин древних, где у края
цветут пионы, облагрив
чертополоха чешую,
и лиловеет орхидея...
О, рощи буковые, где я
подслушал, Пан, свирель твою!

Воображаю грань крутую
и прихотливую Яйлы, —
и там – таинственную тую,
а у подножия скалы —
сосновый лес... С вершины острой
так ясно виден берег пестрый, —
хоть наклонись да подбери.
Там я не раз, весною дальной,
встречал, как счастье, луч начальный
и ветер сладостный зари...

Там, – ночью звездной, я порою
о крыльях грезил... Вдалеке,

меж гулким морем и горою,
огни в знакомом городке,
как горсть алмазных ожерелий,
небрежно брошенных, горели
сквозь дымку зыбкую, и шум
далеких волн и шорох бора
мне посылали без разбора
за роем рой нестройных дум!

Любил я странствовать по Крыму...
Бахчисарая тополя
встают навстречу пилигриму,
слегка верхами шевеля.
В кофейне маленькой, туманной,
эстампы английские странно
со стен засаленных глядят.
Лет полтораста им, – и боле:
бои былые, – тучи, поле
и куртки красные солдат.

И посетил я по дороге
чертог увядший. Лунный луч
белел на каменном пороге.
В сенях воздушных капал ключ
очарованья, ключ печали,
и сказки вечные журчали
в ночной прозрачной тишине,
и звезды сыпались над садом.
Вдруг Пушкин встал со мною рядом
и ясно улыбнулся мне...

О, греза, где мы не бродили!
Дни чередились, как стихи...
Баюкал ветер, а будили,
в цветущих селах, петухи.
Я видел мертвый город: ямы
былых темниц, глухие храмы,
безмолвный холм Чуфуткалэ...
Небес я видел блеск блаженный,
кремнистый путь, и скит смиренный,
и кельи древние в скале.

На перевале отдаленном
приют старик полуслепой
мне предложил с поклоном сонным.
Я утомлен был... Над тропой
сгущались душные потемки.
В плечо впивался мне котомки
линячий, узкий ремешок.

К тому ж, над лысиною горной,
повисла туча, словно черный,
разбухший, бархатный мешок.

И тучу, полную жемчужин,
проткнула с хохотом гроза, —
и был уютен малый ужин
в татарской хижине: буза,
черешни, пресный сыр овечий.
Темнело. Тающие свечи
на круглом низеньком столе,
покрытом пестрой скатереткой, —
мерцали ласково и кротко
в пахучей, теплой полумгле.

И синим утром я обратно
спустился к морю по пятам
своей же тени. Неопратно
цвели на кручах, тут и там,
деревья тусклые Иуды.
На камнях млели изумруды
дремотных ящериц. Тропа
вилась меж садилов веселых.
Пел ручеек. На частоколах
белели козьи черепа.

О заколдованный, о дальний
воспоминаний уголок!
Внизу, над морем, цвет миндальный,
как нежно-розовый дымок,
и за поляною поляна,
и кедры мощные Ливана —
аллей пленительная мгла
(любовь любви моей туманной!),
и кипарис благоуханный,
и восковая мушмула...

Меня те роци позабыли...
В душе остался мне от них
лишь тонкий слой цветочной пыли...
К закату листья дум моих
при первом ветре обратятся, —
но если Богом мне простятся
мечты ночей, ошибки дня,
и буду я в раю небесном, —
он чем-то издавна известным
повеет, верно, на меня!

Лондон
<30 июня 1920>

Электричество

1

В Милете был я встарь мечтателем примечен
на липком янтаре. Я призрачен. Я вечен.
И мной вооружен подводный черный див,
мною посылается сияющим деревьям
стремительная смерть. Я прикасаюсь к девьим
волнистым волосам. Я шелест. Я извив.

2

Я – сладострастие дней майских, дней махровых:
над миром, в мороках удушливо-лиловых
вдруг иступленными я крыльями всплесну;
услышишь ты мой бред, рокочущий за тучей;
ответят мне леса; промчится дождь гремучий,
зеленокудрую преследуя весну.

3

А ночью летнею, безгласный соглядатай,
порой я улыбнусь над дальнею, зубчатой,
дубравой, распахнув двустворчатую тьму,
чтоб светом окропить ресницы спящей нивы:
во сне, в летучем сне, изгнанник сиротливый
так улыбается бывшему своему.

4

За веком веет век. Однажды, грозным богом
я встал, где буревал дымился, на пологом
озерном берегу: там листья вокруг меня
витали, вялые, шурша в полудремоте,
и ворон реющий дивился позолоте
и злобной пестроте восславленного пня.

5

И скиф благоговел. Я царствовал жестоко;
но вытянулась тень крестильницы высокой
и занавесила кровавый истукан.
Как прежде, в облаках блистал я и резвился.
Плыл тихо грузный мир. Я богом вновь явился;
сошел – и расцвел коснеющий туман.

6

Скользнув над хмурыми земными городами,
в стеклянные сердца, висящие рядами
вдоль их расчисленных, излучистых путей,
на выгнутых мостах, в воде прозрачно-черной, —
в те мертвые сердца вложил я, чудотворный,
мечту, сплетенную из сорванных лучей.

7

Над морем заиграл, как солнце в изумруде,
мой свет сторожевой. Меня призвали люди,
и многому с тех пор людей я научил...
Колеса дали мне: стал всякий путь короче.
Врачует немощных лазурь моя. Рабочий
полунасмешливо мне труд свой поручил.

8

Вот струны вдоль дорог. Мерцанье звуковое:
чу! Даль-разлучницу обманывая, двое
друг с другом говорят; их слезы, что роса
на розных венчиках, – но верен, безнаветен,
как ветер, я ношу невидимый их цветень, —
весть и ответственность, – чрез горы и леса.

9

И это все, приметъ, лишь прихоть чародея,
влюбленного в звезду! Вращаясь, холодея,
чредою будет мир из света плыть во тьму;
за поколениями склонятся поколения;
быть может, я свои умножу проявленья,
иносказательно понятные уму, —

10

но лик мой будет скрыт. Таюсь, неуязвимый.
Золотоокие мне служат серафимы...
В моем пронзительно-лазореvom раю,
неописуемым огнем переливаясь,
блистая трепетно и радостно свиваясь,
я словно гралица безгранная стою!

11

И в рай мой снидут все бродившие по склонам
туманным бытия. Над ними, с пышным звоном,
я крылья зыбкие раскину, и тогда
их чувство обоймет полета ликованья, —
как если б дрогнула вся бездна мирозданья
и в бездне каждая запела бы звезда,

12

как если б действенный, мгновенный трепет некий, —
восторга полнота – продлился бы навеки,
все возрастающий; и в этом ярком сне
им будет грезиться, что где-то в полдень синий
на глади мраморной блаженный блеск павлиний
безмерно ширится, струясь по белизне.

Закончено 9–XII–20.

Кембридж – Груневальд

На севере диком

*...стоит одиноко
На голой вершине сосна.*

Лермонтов

1

Остров мой хмурый стоит, как в пустыне глухая могила.
Жуткая вешняя ночь. Огневые разрывы. Бушует
буря. То мчатся, ликуя, то бьются челом об утесы
грешные волны.

Утром на тихий и пасмурный берег
я по тропе каменистой спустилась. Там я любила
грезить о сказочной встрече. Душу мою затуманить
злобным дыханьем горбунья-судьба еще не успела.
Было семнадцать мне лет. Соленый и сладостный ветер
в губы меня целовал, и я гулкую песню пела:

Посети мой остров темный...
Ты запомнишь день сырой,
два-три ландыша в овраге,
ропот влаги под горой.

Ждать тебя на берег мутный
выйду утром, и вдали —
да восстанут из тумана
великаны – корабли.

Это всё твои подарки:
птицы яркие, цветы,
грозди лалов и жемчужин, —
ты мне нужен, только ты!

Полюби мой остров дивий!
Дай в заливе отдохнуть
кораблям золотозарным
и о царстве позабуди!

Пела, потом приумолкла и шла, окруженная ветром.
Пасмурно, пасмурно было... Одни только лужи светились
на лукоморье унылом... Тяжелые, тусклые волны
после ночного разгула задумались важно, и тучи,
сумрачно-сизые тучи, низко над ними стояли,

будто угрюмая рать, на бой опоздавшая... Чайки,
в сумраке этом кружась, – как снежинки, блистали и гасли...

И подивилась я диву: лежал на галечнике влажном
темный обломок, бревно с полустертой резьбой по краю,
а на песке серебристом были следы голубые
голых ступней.

Отгремевшее море оставило много
раковин – крупных, лунных, полных волшебного гула,
полных цветного тумана; одну приложила я к уху,
локон холодный откинув, и слышу, и слышу как будто
голос, что пленная птица, чудный тоскующий голос

в лунке жемчужной печалится.

Вздрогнула я, огляделась:
тучи сизели над морем, искрились дальние чайки,
сонно вращалась волна; и за мной, об утес прислонившись,
словно распятый, стоял человек незнакомый, в лохмотьях
черных, как листья растений морских, и с кровавою раной
на обнаженном плече... И к нему подошла я поспешно:
«Кто ты, нежданный? Отколе? ق.ق.»

Молча на тусклое море
он указал, а потом с утомленной улыбкою руку
дважды к губам прижал...

«Ты голоден, гость безглагольный?»
На языке непонятном что-то сказал он протяжно...
Взгляд его был как напев, звенящий среди ночи глубокой...
«Следуй, бездомный, за мной...»

И вверх по тропе каменистой,
между оскаленных скал и терновых кустов коварных,
вместе мы тихо пошли, и внизу, под горою, осталось
море, дремотное море, сулящее царства и бури,
море, да ветер, как жизнь моя, горький, и свежий, и вольный,
море, да ветер, да чайки, блестящие бегло по склонам
туч, угрожающих издали... – чайки, и ветер, и море...

2

Странник у нас поселился в сгорбленной дымной лачуге.
Братьям моим, рыбакам черногрудым, могучим и грубым,
он помогал расставлять по взморью мережи и часто
с ними же ночью скитался в тумане, влажном и жадном...
Только неловок он был, как недавно ослепший, и пальцы,
тонкие пальцы его – то на бурой хватке вёсельной,
то в склизкой зыб<и> сетей, – белизной

неуместной мерцали.
Грозные братья мои, раздувая презрительно ноздри,

острые щура глаза, молчаливо за ним наблюдали —
и вдруг, зубами блеснув, проклинали задержку иль промах.
Страннику терпко жилось: наш обычай,

привычки, законы,

быстрый гортанный язык – все было ему непонятно.
Я поучала его: как часто на глади песчаной
белым витым черепком чертила я месяц двурогий,
домик с дымящей трубой, кита водометного, лодку,
мальчика с длинными пальцами и выкликала названья!
Он же качал головой, улыбаясь печально и чудно, —
точно ребенок ему предлагал пустую забаву...
Я полюбила его любовью глухой, суеверной;
ночи мои расцветало зарево снов несказанных;
дни проплывали, как тени ветрил... Когда он так тихо,
тихо глаза поднимал, мне чудилось – шум отдаленный
крыльев, смутные песни... Нет, обо мне он не думал...
Ветра и моря не слышал... Он думал о чем-то безмерном,
жутком и нежном, как даль; и лицо его странно светилось,
словно он с мачты высокой видел страну золотую...

Горд, своеволен он был. На досугах всегда он чуждался
братьев моих невеселых, сверстников их бесшабашных,
девушек бледных, крикливых, как чайки, печальные чайки,
да сонных, злых стариков с глазами как мокрые камни...
Помню я праздник ночной...

В просторной прибрежной пещере
движенье, гул и огонь; по стенам слезящимся, черным,
заплески пламени рдеют... Стучат деревянные чаши,
полные браги мерцающей; хохот гудящий, изгибы
темных затылков, локтей, при свете багрово-летучем;
девичий жалкий напев, угловато-унылая пляска...

Поодаль странник сидит, обхватив колена руками.
Тени дрожат на руках – совсем кружевные запястья...
«Что ты не пьешь, не поешь? – задорно кричит бородастый
хриплый хмельной великан. – Иль ты брезгаешь нами,
тщедушный?»

«Полно, он крепче тебя!» – кто-то шутит, и все ему вторят.
Тот ослабляется грозно: «Дыхом его опрокину!»
«Ну-ка, бурлан, позабавь!»

(Меж тем, безучастный и вялый,
странник на тени глядит, на багровые зыбкие пятна.)
Смех затаили, ждут... Великан к нему вдруг подходит
и, неуклюже нагнувшись, прямо в лицо ему дует,
мощно и шумно; а он, узкоплечий такой, тонкорукий,
молча встает, побледнев, как быстрая пена морская,
и точно взмахом крыла сшибает с ног забияку...
Помнится, гам поднялся. Благодушно хвалили, дивились.
Странник плечами повел и вышел из шумной пещеры.

Стало в ней душно и мне; я нагнулась, легко проскользнула.
Черный раздвинулся свод; мне навстречу, тиха и безумна,
выплыла лунная ночь и, вздохнув, унесла, закружила.
Призрачно берег белел; безмолвному грезилось морю
море небесное; скалы синели; неслась я неслышно, —
словно самые звуки растаяли в лунном сиянии...
Вдруг я увидела друга, и ночь, как волшебница, скрылась,
нет – превратилась в единый задумчивый

луч, прильнувший
к бледному лбу человека недвижимого. Ожили звуки;
выслало море волну, и тихо волна возвратилась;
странник ко мне повернулся, узнал, чуть ресницы блеснули.
Нет, он меня не любил! Я у ног его села, и снова,
снова нахлынула ночь голубая; сложила я руки,
старую, старую песню огромной луне подарила:

Хоть и рядом сидим, – ты один, я одна...
(Серебристая в море вскружилась волна.)

Ты безгласен, и бледен, и думой далек.
(Просияв, наклонясь, пролилась на песок.)

Где блуждает, скажи, твоя туча – душа?
(Разостлалась волна, сиротливо шурша.)

Ты не хочешь понять – я сказать не могу!
(И волна умерла на пустом берегу.)

Песнь моя улетела, исчезла. Странник, не глядя,
волосы тронул мои ладонью холодной: казалось,
радуясь звонкому дару, луна говорит мне: спасибо...

3

Дни протекали за днями. Уж ветер опрашивал ветви:
нет ли янтарных листков? И бредину в лиловом овраге
мучил, и мучил березку в нашем саду убогом.
Ах, как он стал тосковать, изгнанник таинственный! Тучи
тяжко над морем влеклись, и глядел он все чаще, все чаще
с бледной песчаной косы в равнодушную даль – не видать ли
паруса, белого друга?

А я – заклинала я ветер!
Выйди, выиграй, волновой! Отклони корабли роковые!
О, не пускай их сюда! Занавесь беспросветным туманом
остров задумчивый мой, чтоб со мною б остался навеки
царь безвестного края!

Мольбам моим, скорбным и страстным,
ветер лукавый не внял...

Помню, в тот день я проснулась
поздно, и в черный платок завернулась, и вышла лениво.
Пасмурно, пасмурно было; к морю я шла и бессвязно
думала все об одном, о любви своей пламенно-пленной:
ключ бы найти золотой – пронзительно-яркое слово!
Я очутилась у моря, и вдруг мое сердце скатилось
в бездну. Вон там старший брат мой

вволакивал лодку на сушу,
а там, далече, далече, серебряный узился парус.
Молвил спокойно рыбак, на плечо блестящие весла
вскинув: «Ты опоздала... Купеческий пестрый кораблец
друга увез твоего; торопил он меня: не успеем,
ах, не успеем подплыть! Я смеялся», – и, крепко ступая,
брат удалился. А там, между морем и мороком, парус
вспыхнул в случайном луче и потух – навеки...

Прощай же!

Светлый, безмолвный скиталец. Не чуяли дальние души
гордой твоей красоты, – но и ты, распахнула ль ты двери,
тихие двери своих очарованных черных чертогов,
полных сиянья, и трепета, и откровений крылатых?
Ты не желал! Ты молчал, хоть и двигались

губы, – созвучья

были темны, как слепца сновиденья.

Быть может, о странник,
ныне, в пустыне печали, не только себя я жалею.
Если б, ах, если б меня ты душою заметил, быть может,
море бы вдруг превратилось в ограду алмазную, чайки —
в легкие радуги, ветер – в напев непрерывной улады!
Царь безвестного края, – быть может, заветное счастье
рядом с тобою прошло, а ты хоть и слышал, – не понял...

21–ХII–20

Груневальд

Петербург

Так вот он, прежний чародей,
глядевший вдаль холодным взором
и гордый гулом и простором
своих волшебных площадей, —
теперь же, голодом томимый,
теперь же, падший властелин,
он умер, скорбен и один...
О город, Пушкиным любимый,
как эти годы далеки!
Ты пал, замученный, в пустыне...
О, город бледный, где же ныне
твои туманы, рысаки,
и сизокрылые шинели,
и разноцветные огни?
Дома скосились, почернели,
прохожих мало, и они
при встрече смотрят друг на друга
глазами, полными испуга,
в какой-то жалобной тоске,
и все потухли, исхудали:
кто в бабьем выцветшем платке,
кто просто в ветхом одеяле,
а кто в тулупе, но босой.
Повсюду выросла и сгнила
трава. Средь улицы пустой
зияет яма, как могила;
в могиле этой – Петербург...

Столица нищих молчалива.
В ней жизнь угрюма и пуглива,
как по ночам мышиный шурк
в пустынном доме, где недавно
смеялись дети, пел рояль
и ясный день кружился плавно, —
а ныне пыльная печаль
стоит во мгле бледно-лиловой;
вдовец завесил зеркала,
чуть пахнет ладаном в столовой,
и, тихо плача, жизнь ушла.

Пора мне помнится иная:
живое утро, свет, размах.
Окошки искрятся в домах,
блестит карниз, как меловая
черта на грифельной доске.

Собора купол вдалеке
мерцает в синем и молочном
весеннем небе. А кругом —
числа нет вывескам лубочным:
кривая прачка с утюгом,
две накрест сложенные трубки
сукна малинового, ряд
смазных сапог, иль виноград

и ананас в охряном кубке,
или, над лавкой мелочной,
рог изобилья полустертый...
О, сколько прелести родной
в их смехе, красочности мертвой,
в округлых знаках, букве ять,
подобной церковке старинной!
Как, на чужбине, в час пустынный
все это больно вспоминать!

Брожу в мечтах, где брел когда-то.
Моя синеющая тень
струится рядом, угловато
перегибаясь. Теплый день
горит и ясно и неясно.
Посередине мостовой
седой, в усах, городской
столбом стоит, и дворник красный
шуршит метлюю. Не горя,
цветок жемчужный фонаря,
закрывшись сонно, повисает
на тонком, выгнутом стебле.
(Он в час вечерний воскресает,
и свет сиреневый во мгле
жужжит, втекая в шар сетистый,
и мошки лапятся к стеклу.)
Торчит из будки, на углу,
зеленовато-водянистый
юмористический журнал.
Три воробья неутомимо
клюют навоз. Проходят мимо
посыльный с бляхой, генерал,
в носочках лунных франт дебелий,
худая барышня в очках;
другая, в шляпе нежно-белой
и с завитками на щеках,
чуть отуманенных румянцем;
газетчик; праздный молодец;
в галошах мальчик с пегим ранцем;
шаров воздушных продавец

(знакомы с детства гроздь цветная,
передник, ножницы его).
Гляжу я, все запоминая,
не презирая ничего...

Морская улица. Под аркой,
на красной внутренней стене
бочком торчат, как гриб на пне,
часы большие. Синюю жаркой,
перед дворцом, на мостовой
сияют лужи, и ограда
в них отразилась. Там, вдоль сада,
над обольстительной Невой,
в весенний день пройдешь, бывало:
дворцы, как призраки, легки,
весна гранит околдовала,
и риза синяя реки
вся в мутно-розовых заплатах.
Два смуглых столбика крылатых
за ней, у биржи, различишь.
Идет навстречу оборванец:
под мышкой клетка, в клетке чиж;
повеет Вербой... Влажный глянец
на листьях липовых дрожит,
со скрипом жметя баржа к барже,
по круглым камням дребезжит
пролетка грязная, – и стар же
убогий ванька, день-деньской
на облучке сидящий криво,
как кукла мягкая... Тоской
туманной, ласковой, стыдливой,
тоскою северной весны
цветы и звуки смягчены.

Да, были дни, – но беззаконно
сменила буря тишину.
Я помню, город погребенный,
твою последнюю весну,
когда на площади дворцовой,
махая тряпкою пунцовой,
вприсядку лихо смерть пошла!
Уже зима тускнела, мокла,
фиалка первая цвела,
но сквозь простреленные стекла
цветочных выставок протек
иных, болезненных растений
слащавый дух, подобный тени
блудницы пьяной, и цветков
бумажный, яростный и жалкий,

заместо мартовской фиалки,
весной искусственной дыша,
алел у каждого в петлице.
В своей таинственной темнице
Невы крамольная душа
очнулась, буйная свобода
ее окликнула, – но звон
могучий, вольный ледохода
иным был гулом заглушен...

Неискупимая година!
Слепая жизнь над бездной шла:
за ночью ночь, за мглою мгла,
за льдиной тающая льдина...
Пьянел неистовый народ.
Безумец, каторжник, мечтатель,
поклонник радужных свобод,
картавый плут, чревовещатель, —
сбежались все; и там и тут,
на площадях, на перекрестках,
перед народом, на подмостках
захлебывался бритый шут...

Не надо, жизнь моя, не надо!
К чему их вопли вспоминать?
Есть чудно-грустная отрада:
уйти, не слушать, отстранять
день настоящий, как глухую
завесу, видеть пред собой
не взмах пожаров в ночь лихую,
а купол в дымке голубой,
да цепь домов веселых, хмурых,
оливковых, лимонных, бурых,
и кирку, будто паровоз
в начале улицы, над Мойкой.
О, как стремительно, как бойко
катился поезд, полный грез, —
мои сверкающие годы!
Крушение было. Брошен я
в иные, чуждые края,
гляжу на зори через воды
среди волнующейся тьмы...
Таких, как я, немало. Мы
блуждаем по миру бессонно
и знаем: город погребенный
воскреснет вновь, все будет в нем
прекрасно, радостно и ново, —
а только прежнего, *родного*,
мы никогда уж не найдем...

<июль 1921>

Olympicum

Стихии вечной выраженья,
тебя, о музыка движенья,
и, мышцы радостные, вас,
уладу сил, послушных воле, —
я в этот век огня и боли,
я в этот хищный, черный час
в стихах прославлю своенравных, —
тебя, блаженство взмахов плавных,
и, мышцы радостные, вас!

Поговорим сперва о круге...

Земля, коль верить морякам,
шарообразна. Воды, вьюги,
и дым, плывущий к облакам,
и в теле кровь, и звезды неба, —
все, все кружится; человек,
дай волю, шарики из хлеба
катал бы молча весь свой век.
Под бирюзовым облым сводом
вращаться медленно народам
круглоголовым суждено,
и год вращается за годом,
в саду алеет круглым плодом
иль сеет круглое зерно.

И шаровидны в этом мире
все наслажденья, тени все,
и самый Крест – как бы четыре
луча в незримом Колесе.

Когда на клавишах качает
тоскливый гений яркий сон,
он на листе за звоном звон
кружочком черным отмечает.
Когда струятся к высоте
искусства райские обманы,
нам в каждой краске и черте, —
в изгибах туч, в бедре Дианы, —
округлость мягкая мила.
Мы любим выпуклые чаши,
колонны, грозди, купола, —
все круглое; и если в наши
глухие годы, годы зла,
мечта, свободней, но угрюмей,

сбежала с благостных холмов
в пределы огненных углов,
геометрических безумий, —
то все же прежних мастеров
забыть не смеем мы, не можем,
хоть диким вымыслом тревожим
и ум и зренье; там и тут,
на сводах жизни нашей тесной,
пленяя плавностью небесной,
мадонны-лилии [sic!] цветут...

И рой утех, как в улье пчелы,
в тебе живут, упругий круг,
и ты – мой враг, и ты – мой друг
в борьбе искусной и веселой.
Вот, сокрушительный игрок,
я поднимаю локоть голый,
и если гибок и широк
удар лапты золотострунной —
через сетку, в меловой квадрат,
перелетает блестящей лунной
послушный мяч. Я тоже рад
среди плясунов голоколенных
носиться по полю, когда,
вверху, внизу, туда, сюда,
в порывах, звучно-переменных,
меж двух прямоугольных луз
маячит кожаный арбуз.

Седой и розовый британец,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.